

*Анджей
Иконников-Галицкий*

СВЯТЫЕ
И
ДУРАЧОК



ЛИТЕРАТУРНАЯ
МАТРИЦА

Санкт-Петербург

НА ГОРЕ БЛИЗ ЭФЕСА

Невысокие средиземноморские сосны на склоне горы. Среди них на прогалинке – бревенчатый домик под соломенной кровлей. В дальней от нас стороне этого пространства стволы сосен расступаются и меж ветвей виднеется море. Всё чисто и прозрачно, так что даже можно почувствовать свежесть горного воздуха и услышать шуршание сосновой хвои. Со стороны, где мы, к домику подвигается тропа и упирается в трёхступенчатое крылечко, устланное разноцветными ковриками. На крыльце на стуле с невысокой спинкой сидит ж е н щ и н а с очень светлым лицом – настолько светлым, что его черты становятся неуловимы. Голова, плечи, руки укрыты широким тёмным платком. Она сидит неподвижно, смотрит в нашу сторону. Может быть, она что-то вспоминает, или о чём-то думает, или к чему-то прислушивается. Окружающая её тишина усугубляется щебетанием птиц и мягким шумом сосновых ветвей.

В эту симфонию вплетается новый звук: шаги по каменистому грунту. Из древесного сумрака на свет по тропе выходит ч е л о в е к лет тридцати пяти. Он чуть выше среднего роста, худощав, темнобород, молодец, одет в простой светлый хитон с синей каймой. Лицо удлинённое, тонкий нос, высокий лоб; в волосах и бороде явственна седина. Он устал от долгого подъёма. За ним, чуть выше и поодаль, в воздухе движется сотканная из света фигура: белая одежда, крылья, человеческий лик. Путник вступает в пространство поляны, а световая фигура замирает как негатив его тени на фоне сосен.

П р и ш е д ш и й. Радуйся, Благодатная!

М а р и я. И тебе радоваться, Иоаннушка! Как хорошо, как это чудно, что ты пришёл!

И о а н н. Внизу жарко, в городе душно, шумно. А поднимешься по этой дороге – и тишина, и прохлада. Мир здесь у тебя.

Обнимаются: он припадает к её плечу, она целует его в макушку. Белый хитон на фоне тёмного платка.

М а р и я. Устал, отдышись. Садись, милый. Сейчас принесу чем порадоваться.

Уходит в дом. Иоанн садится на ступень крыльца, отирает лоб рукавом хитона.

И о а н н. Здесь легко и чисто. Как хорошо дышится! Можно даже забыть, что там, внизу – город в малярийном болоте и бедные, бедные люди... Бродят и горланят, как будто их чем-то таким опоили. Слепые и глухие – как ими же выставленные идолы. Там – душно и тяжело, там все всего боятся и от страха грызут друг друга. У них – последнее время. «И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время»... Там мир во зле лежит. Бедные, мучающие себя люди. А здесь – небо.

Мария возвращается с кувшином в одной руке и подносом в другой. На подносе – белый круг хлеба, чаша и виноград.

М а р и я. Вот, утоли голод, выпей вина. Хиосское.

И о а н н. Ого! Откуда у тебя такое диво?

М а р и я. Это Лука: навестил меня полгода назад и, добрый мой, привёз на ослике корзину всякой снеди и мех вина. С чистой водой хорошо будет.

Ударяет ладонью по камню, красующемуся возле стены дома. Из камня тотчас брызгает чистая струя и начинает бить фонтанчик искристой воды.

И о а н н (*берёт хлеб*). Возьмите, ешьте, вот тело Моё, за вас преломляемое... (*Разламывает хлеб и оставляет на подносе. Берёт чашу, наполняет её водой на треть, доликает вином.*) Пейте, вот кровь Моя Нового завета, за вас и за многих изливаемая... Благослови, Учитель.

М а р и я. Благословенно царство Отца Твоего и Духа.

Отламывают понемногу от хлеба, едят; отпивают вина. Ангел на фоне деревьев становится выше и склоняется над ними.

И о а н н. Один египтянин, из верных, привёз письмо от Филиппа: он собирается к нам в Эфес и, если Бог даст путь благоприятен, скоро навестит тебя. Какой хлеб! Ты одна так умеешь.

М а р и я. Ешь, милый. Как хорошо, что ты пришёл! Мне очень нужно видеть тебя.

И о а н н. И вино: поднимает как на крыльях.

М а р и я. Иоанн, милый, ты пришёл сюда, потому что я этого хотела. А мне нужно было, потому что нам с тобой оправдаться в путь. Мой Сын скоро возьмёт меня к себе, и Его воля, чтобы мы и первые ученики собрались в Иерусалиме. Чтобы собрались двенадцать.

И о а н н. Как это будет? Всех раскидало по свету. Хорошо, Филиппа, Петра, Иакова моего и другого – этих найдём... Фаддей, говорят, где-то в Месопотамии, у парфян – о нём, может, знает Симон... А где Матфей? Где Фома? Где Андрей? О Варфоломее тоже давно ничего не слышно.

М а р и я. Как это будет... Как – не знаю, но будет.

И о а н н. Да.

М а р и я. Когда пришёл ко мне ангел... Там, в Назарете, у колодца... И я не могла взять в толк, как это будет – как

у меня Сын родится... Но это случилось. И я уже тогда знала, что случится. Как было страшно! И как радостно!

И о а н н. Совершенная любовь изгоняет страх.

М а р и я. Да.

И о а н н. Странно: люди всё мучаются неведением будущего, всё ухищряются, чтобы заглянуть за какую-то завесу... А нет ничего яснее будущего. Будет суд и будет бессмертие. Суд в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму... А тот, кто в правде, идет к свету. Всё во всём – Учитель, и мы вокруг него, в свете. Как в тот раз, с Иаковом и Петром на горе. Удивительный был свет, необъяснимый – тихий, входящий в душу и плоть: поднимает и уносит к теплу – как отец несёт на руках новорождённого младенца.

М а р и я. И как я шла к Елисавете рассказать ей о своей беременности.

И о а н н. И когда мы стояли – там... и видели крест... и Его на кресте, и был этот трескучий ужас, и всё сжирала на-ползающая тьма – и вот свет во тьме светит...

М а р и я. И тьма разодралась как завеса...

И о а н н. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти.

М а р и я. Мы заболтались с тобой. Надо готовиться.

Ангел склоняется и накрывает их крыльями. Всё – поляна, домик, сонны – тонет в свете, становится невидимым.

Из света по краю проступают образы людей; сначала туманные, они становятся всё чётче, обретают контур и цвет. Мы даже узнаём их: вот апостол Пётр в зелёном хитоне и золотистом гиматии, вот Павел (высокий лысый лоб, вьющаяся борода), вот Андрей Первозванный, Иоанн, Филипп, Фома... За ними, уже не так ясно, как будто световые облака, видны другие фигуры – их множество, сонм. Посередине вылепляется из света ложе, на нём – лежащая женщина, Та Самая. И тут мы видим,

что над ней в одеждах, блистающих как горный снег, стоит Сын и Учитель – а мы даже и не заметили, как Он появился. И на руках у Него маленький светлый младенец...

Контуры становятся жёстче, цвета отчётливее, и всё увиденное нами превращается в икону.

Перед огромной, во всё видимое пространство иконой Успения появляется человек в современной одежде. Назовём его Автор.

Автор начинает: сначала читает то ли стих, то ли молитву.

И МОЛЮСЯ ЯКО ИОНА: ОТ ТЛИ, БОЖЕ, ВОЗВЕДИ МЯ!

Молитву пролию
ко Господу.
Жизнь дождёвываю –
последнюю горстку.
Похожу да сяду.
Глядь – она и вся.
И живот мой аду
приблизися.
В белое никуда
тянет тень мою.
Како преда-
хомся тлению?

Был умён, красив.
Не слышишь, не видишь.
Яко земля еси
и в землю отидеши.

Как это будет?
Облачком в свет вечерний.
Плоть мою полюбят
мухи да черви.
А душу-то куда дену?
Ни сумы, ни кармана нет.
В пасть? В геенну? Демону?
Так камнем и канет.

Бедный я человек!
Нет мне покою.
Зачёркиваю черновик,
Котомку пакую.
Ощупываю висок.
Пульса нет даже.
Беженец на восток,
в бездну и дальше.
Как незрячий на звук –
тыкаюсь, тяну горсти.
Из глубины воззвах:
Услыши мя, Господи!

Никому не признаюсь.
Только Тебе поведаю.
Нет мне пристанища
на земле – тускло, ветрено.
Тянет холодом, прахом
в щели смердит люто.
Люди не любят правды.
Не любо мне в людях.
Ты один у меня,
прибежище и надежда,

жизнь, как воду из камня,
высекший мне однажды.

Мне душу-коптилку
зажгли – и задули.
Молитву, как птицу,
держу на ладони.
Теплится тремоло
в чаше веков
ветру тления
наперекор.
До смерти и далее,
в вечную сень –
надгробное рыдание
творяще песнь...

Закончив ритмическую речь, Автор переходит к повествованию.

*Помощник и Покровитель бысть мне
во спасение,
Сей мой Бог, и прослаблю Его,
Бог отца моего, и вознесу Его:
славно бо прославися.*

В НАЧАЛЕ

Рождение веры

Бытия чтение

Предупреждаю сразу: я не скажу вам ничего нового.

Заполосный, суетный мир требует новизны и, услышав новое, тут же забывает его так же безнадёжно, как не помнит старое. Повторённое же миллион раз становится как бы воздухом, которым мы дышим, не замечая и не задумываясь.

Но дышим же! И если по какой-нибудь случайной причине (например, выйдя из духоты на свежесть) вдруг ощутим этот всегда окружающий нас воздух, то почувствуем и обновление, и свободу, и за плечами что-то вроде крылышек.

Поэтому я начну с того, что было повторено в уши человеческие не миллионы, не миллиарды, а несчётное число раз.

В начале сотворил Бог небо и землю.

Обычно эту фразу понимают с последнего слова. Земля – мир вещей и явлений, в котором мы живём, мир начал и концов. А что такое небо? Как известно, человек отличается от всех животных тем, что смотрит в небо. Животные – все, даже птицы – смотрят в землю или в порождения земли: ко-

мариков, мух, облака. Небо как таковое их не интересует, потому что в нём ничего нет. Человек же смотрит в эту пустоту, и может смотреть часами. Он там видит бесконечность. Небо, если убрать с него все порождения земли и все родственные земле явления, представляет собой бесконечность. Пространство, которое нигде и везде. Поэтому Бог в нашем представлении – на небе: вроде и нигде, но всюду. Вот Он создал мир вещей, но прежде – само пространство, через которое является нам.

Однако вернёмся к заданной фразе. Там есть первое слово: «в начале». Характеристика времени. То есть прежде пространства Бог сотворил время. Оно – первое творение Божие, и поэтому оно парадоксально: не вмещается в другие творения, в том числе и в наше сознание.

Для нас время – некая данность, о которой мы стараемся не думать, как звери стараются не смотреть в небо. Нам даже кажется, что мы про него всё знаем. Ну, например, знаем, что оно равномерно и однонаправленно, для всех одинаково. Но так ли это? Я сейчас имею в виду не физико-математические картины и не известный парадокс: время есть, но его нет, потому что прошлого уже нет, будущего ещё нет, а настоящее превращается в прошлое прежде, чем мы успеваем его уловить. Я имею в виду вот что. Время по-разному существует снаружи человека и в нём, внутри его сознания.

Когда я родился?

Вот простой вопрос: «Когда для меня началось время?»

Наверно, когда я родился.

А когда я родился?

Конечно, когда-то я задал этот вопрос своим близким. И близкие мне ответили: «Ты родился 16 ноября 1961 года». Может быть, даже час назвали. Я им поверил. И с тех пор не

сомневаюсь: для своих близких и для всего окружающего мира я родился именно тогда.

Но что произошло во мне самом в тот промозглый и тёмный осенний день? Настолько ничего, что я даже этого не запомнил. Когда же началось время внутри меня, в моём сознании? Очевидно, тогда, когда появились первые воспоминания. Во всяком случае, до этого момента нельзя утверждать, что я внутренний пребывал во времени.

Я по-новому родился, когда стал помнить.

И вот интересно: что это за такие первые воспоминания? Когда они возникли из небытия?

Здесь мы сталкиваемся с ещё одной неожиданностью. Обычно время понимают как прямую линию, как шампур, на который нанизаны кусочки событий. Строгий порядок: сначала первое, потом второе, потом третье... А может быть, время – сеть? Непростое переплетение линий? На это указывает тот факт, что во времени моё сознание путается. Я вот никак не могу точно указать, какие из моих воспоминаний самые ранние. А раз не могу я, то не сможет никто иной уверенно это установить. Конечно, Бог, но Он вне времени. Он, как рыбак, любую рыбку выпутает из временной сети.

Я могу приблизительно определить возраст моих первых воспоминаний, используя инструменты – сумму заимствованных мною из внешнего мира знаний. Я вот знаю, что в первые годы моей жизни мама и родственники жили в Дачном – таком садово-огородном предместье Ленинграда. У нас была комната в коммуналке и дом в Дачном, только что отстроенный заново после войны. Естественно, мама с ребёнком обитала там. Потом государство решило дом уничтожить, чтобы на его месте выстроить жилой массив. Дачное у нас просто отобрали и даже ничего не сунули взамен. Это случилось в конце 1964 года, осенью. Между тем ряд моих воспоминаний включает в себя Дачное: уча-

сток, огороженный штакетником, канавку перед ним, горбатый мостик, калитку, кусты и деревья, дом и, наконец, людей на этом фоне. Среди подобных картин есть одна, сама по себе не особо значимая. Я вижу комнату, деревянный пол, дверь и, кажется, часть веранды. На полу рассыпаны яблоки. Значит, это осень, причём её середина: так рассыпают яблоки долгохранящихся поздних сортов, чтобы они подсохли, в конце сентября – октябре. Маловероятно, чтобы это происходило в последний дачинский год: тогда, наверно, было не до яблок, всю паковали вещи. Стало быть, осень 1963 года. Мне ещё нет двух лет.

Получается, что внутреннее моё рождение совершилось на 23-м или 24-м месяце после внешнего. И первыми увиденными мною были вот эти плоды земные.

Впрочем, «совершилось» – несколько не то слово. Что, собственно, совершилось? Малыш-карапуз притопал неловкими ножками в пустую комнату, где по полу раскиданы антоновки и штрифели. Лучше сказать, что с этого началось моё внутреннее рождение. А ещё лучше: продолжилось моё рождение. То есть рождение – не событие, а процесс.

Интересно: когда же этот процесс заканчивается?

Этот вопрос отложим на потом.

Интересно, почему запечатлелось именно это?

Интересно также: что следующее можно поставить в ряд событий, знаменующих моё рождение?

Отбрасывая милые, но второстепенные воспоминания, останавливаюсь вот на каком моменте. Я вдруг понимаю, что это – я. Я очень ясно помню, как это произошло. На сей раз в комнате той самой коммунальной квартиры (старинной, барской, до революции принадлежавшей моему прадеду). Комната – то, что осталась у нас после потери Дачного. Я в колготочках и коротких штанишках сижу с ногами на диване. (И диван этот помню: ветхий, от прабабушкиной обстановки, белый

в цветочек.) Сижу, и во мне возникает (как будто входит откуда-то и становится передо мной) знание, что это – я, что меня зовут Андрюша, что мне пять лет, что вот это – одна моя, именно моя нога, а вот это – другая (не уверен, мог ли тогда определить, какая правая, какая левая). То есть произошло осознание себя как отдельного существа. И своего тела как именно своего, и своей мысли как именно своей. До этого момента воспоминания принадлежат не мне, а неизвестно кому – как будто снимает камера слежения.

И вот что примечательно. По сохранившимся моим детским бумаженциям вижу, что это осознание себя произошло примерно в то же время (в те же пять лет), когда начались рисунки. До этого – обезьяньи каляки-маляки, коими испорчены форзацы многих попавшихся в мои ручонки книг. А тут – корявые и неуклюжие, но узнаваемые изображения: человечки, которые куда-то идут, машинки, в которых кто-то едет, подобия животных и цветков. Осознание себя совпадает по времени с первыми попытками создания образов.

Примерно к этому же возрасту – не меньше четырёх, не больше шести лет – относится ещё одно значимое явление. Дело было в деревне Бронка. Там мы снимали на лето жильё, чтобы удрать из душной тараканьей коммуналки. Теперь на Бронной горе коттеджный посёлок довольно-таки гнусного вида, а тогда была настоящая деревня, с коровами, курами, поросятами, с душистыми лугами и прекрасным видом на Финский залив и Кронштадт.

Как-то раз я поцарапал пальчик или что-то такое с ним сделал – ушиб, занозил, – точно не помню. Было не больно, скорее как-то необычно, и я побежал показывать пальчик бабушке. Не знаю уж почему, но моя бабушка, не религиозная, но уважавшая Закон Божий, при виде моего поднятого вверх перста воскликнула:

– Что это, Господи Иисусе?

Меня это ужасно насмешило. Тоже не знаю почему. Наверно, это созвучие «дисусе». А может быть, комичное выражение бабушкиного лица. Я отсмеялся сколько мог. А потом, как это свойственно детям, почувствовал потребность поделиться своим весельем с другом. И побежал к Екатерине Афанасьевне.

Екатерина Афанасьевна – хозяйка, у которой мы снимали летние комнатки, именуемые дачей. Ей зашло далеко за сорок, у неё были братья и племянники, но своих детей не было. И мы с ней очень подружились. Я ходил за ней всюду, разговаривал обо всём; она учила меня поливать яблони, полоть морковку, окучивать картошку, кормить поросёнка – в общем, заниматься всеми теми безумно интересными делами, из которых состоит деревенская жизнь. На сей раз я прибежал к ней, когда она обедала: хлебала какой-то супчик, заедая хрустящим молодым луком. Она сидела за столом, а над её головой на полочке горел огонёк и стояла икона. Что такое икона, я знал: у нас такие были дома, и на них такое же странное изображение бородастого человека с удивительными глазами. Но у нас иконы скрывались, где-то припрятанные, и огоньки перед ними не горели. Я быстро поведал о смешных бабушкиных словах. Екатерина Афанасьевна не рассмеялась. Она даже как будто испугалась. Лицо её, всегда обращённое ко мне доброй, улыбчивой стороной, сделалось серьёзным. И она сказала незнакомым мне голосом, в котором слышалось страдание:

– Не надо так шутить, нельзя: Боженька рассердится.

И приподняла правую руку вверх, то ли указывая на икону, то ли защищаясь от невидимой угрозы.

Поясню тому, кто не в курсе: шестидесятые годы – апогей советского безбожия. Дети вроде меня ничего не слышали про Бога, их родители с молодым энтузиазмом в Бога не верили, а бабушки боялись о Боге вспоминать. Моя бабушка и её

сестра, моя крёстная, которые вдвоём занимались моим воспитанием, не придерживались коммунистического богоборчества, в себе сохраняли островки веры, но говорить об этом вслух, да ещё с ребёнком – не могли. Они пережили тридцатые годы и знали, к чему такие разговоры ведут. Поэтому я ничего не понял – кто рассердится и за что.

Екатерина Афанасьевна не стала развивать тему. Я, видимо, покрутился вокруг её стола и отправился восвояси. Я вышел обескураженный. Я впервые узнал, что есть некто такой Боженька, мнение Которого важнее всего, важнее даже моего веселья, и что Он как-то связан с теми забавными словами, которые произнесла моя бабушка. «Боженька» и «Господи Иисусе» соединились в моём недоуменном сознании с иконой и огоньком над головой Екатерины Афанасьевны.

Мне были явлены три факта. Первый: есть Тот, Кто всегда нас видит, всем управляет, даёт цену нам и нашим поступкам – Отец, которого я не знал до этого (мой отец умер в год потери Дачного). Второй факт: Господь Иисус от Отца пришёл ко мне, маленькому; и Он, Иисус, вызывает во мне невероятное соединение чувств радости (смех), страха и сострадания. То ли я страдаю Ему, потому что сам Его чем-то обидел, то ли Он страдает мне, моему пальчику. И третий факт: огонёк, горящий над головой человека, знающего про первые два.

Что это было, если не рождение веры – рождение в вере?

Вера – имя

Мою маму звали Вера. И бабушку звали Вера. Для меня слово «вера» было именем прежде, чем обернуться понятием. Имя – часть бытия своего носителя. Вот кто-то рядом со мной произнёс:

– Вера!

И из небытия (из соседней, например, комнаты, которую я не вижу и не знаю, что там, и есть ли там что-то) является милый мне человек: бабушка. Или мама.

В этом смысле мне повезло. Из самого раннего детского опыта я знал, что вера имеет вполне определённый образ. Вот из чего складывается в моём сознании образ другого человека? Из его внешности и его действий. Говоря языком физики: из материальных частиц и энергетических импульсов, сопряжённых в определённом, неповторимом порядке. Так и вера: она – материальна и действительна; она – образ жизни. Причём такой образ, через который, как через волшебный кристалл, видно всё, что по-настоящему имеет быть. И исчезает, делается невидимым всё ложное.

Частью моего детского образа жизни были праздники.

Например, Пасха.

К тому времени, когда произошла эта история с «Господи Иисусе», я уже знал, что бывает Пасха. Опять-таки праздновалась она у нас не по-церковному, а по-домашнему. Бабушка с мамой обычно ходили к началу пасхальной заутрени, на крестный ход, но меня с собой не брали. Я только фиксировал в памяти, что есть особая ночь, когда можно не ложиться вовремя спать, когда нужно дождаться маму с бабушкой. То, что они ушли куда-то в такое неурочное время, – уже само по себе необычно. Ещё необычнее, что их нужно дождаться (ходили в Спасо-Преображенский собор, единственный действующий в округе, это минут двадцать ходьбы от нашего дома), что они придут в каком-то особом, никак не объяснимом настроении, что все будут с ними целоваться, а потом есть такую белую красивую пищу, которая называется «пасха». К этому всему следовало готовиться и, в частности, заниматься приготовлением пасхи. Ещё за неделю ставили проращивать овёс, и на подоконнике в корбочке появлялись весёлые зелёные

человечки – травинки. Потом крёстная ходила на рынок и покупала приятную всячину: творог, масло, яйца, сливки. Потом с этим всем начиналась трудная и радостная возня, в которой и мне полагалось участвовать. Творог протирали через сито, сливки взбивали венчиком, масло растирали до полужидкого состояния, всё это поэтапно смешивали с сахаром и яичными желтками (в мои обязанности входило перемешивание деревянной ложкой строго в одном направлении). Толкли в ступе какие-то пряности, которые при этом весело пощёлкивали. Добавляли их в смесь. Так проходило, наверно, до половины дня. Потом ещё красили яйца во всякие весёлые цвета старинными революционными красками, хранившимися в особой коробочке. Потом выкладывали желтовато-белую смесь в пирамидальную форму с рельефными крестами и убирала надолго в холод.

До того самого момента, когда бабушка и мама вернутся из своего загадочного ночного странствия. И все начнут целоваться. И приговаривать: «Христос воскрес!»

Я, конечно, понятия не имел, что значит это присловье. Просто звуки. Во всём остальном течении жизни имя Христа не упоминалось. Или упоминалось тайком от меня, или незаметно, и я просто не фиксировал его в сознании. Оно являлось именно в сочетании с «воскресе», вместе с особенным выражением лиц, радостной вознёй, бессонной ночью, нежнейше-вкуснейшей пищей.

– Господи Иисусе!

– Христос воскрес!

Встреча с именем Божиим.

Если сказать:

– Вера! – то из-за стенки или иной перегородки, отделяющей нас от небытия, появится бабушка или мама.

А если сказать:

– Господи Иисусе Христе! – то появится Иисус Христос.

Тот самый, который воскрес, который пожалел мой пальчик, которого и я почему-то жалею и боюсь, как бы он на меня не рассердился.

«Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него».

Я в коротких штанишках сижу на диване с ногами и понимаю, что это я и мне пять лет.

Осуществление ожидаемого

У веры есть одна особенность. Она рождается и не умирает. Всё остальное, что рождается, – умирает. Кроме веры. Я, родившийся 16 ноября 1961 года, умру. А я, родившийся в вере, – не умру.

Вера не имеет предела во времени.

Невозможно отказаться от веры, избавиться от веры или каким-то иным образом лишиться веры. Когда говорят: «Я (он) потерял веру», – это риторическая фигура. На самом деле, либо веры не было (то есть я ещё в ней не родился), либо я временно перестал её ощущать. Последнее не страшно: ведь я, пока здоров, не ощущаю свои лёгкие, но просто дышу ими. Веру мы тоже начинаем ощущать в беде, как больные лёгкие – когда перед нами открывается пропасть смерти.

Это и понятно, потому что у веры есть одно действие. Она даёт возможность любить. Поверил – полюбил. А любовь – антоним смерти. Всё, что спасает от смерти, как от индивидуальной, так и от всеобщей, – любовь.

Слово «любовь» сильно испорчено культурными контекстами. Но суть от этого не меняется.

Инстинктивное противодействие смерти, которое уже есть начало любви, было во мне раньше веры. Когда я, крохотный, в первый раз, чтобы не умереть, потянулся к материнской груди, ухватился за неё, присосался к ней – это уже было начало

любви. Младенец инстинктивно любит мать, потому что она – непосредственная его защита от смерти. Но в этом не было ещё меня – было тельце, была слепая и бессловесная душоночка, но не было памяти и воли.

Когда в моей памяти впервые запечатлелось состояние любви?

Тогда же, когда появилось осознание себя и вера в то, что невидимо.

Я позову:

– Мама!

И из невидимого пространства за стеной появится моя мама Вера. И это мне необходимо, потому что я её люблю. Не потому, что хочу поест и спастись от голодной смерти. А потому, что это необходимо всему моему существу – не только тому, которое родилось в ноябре, а больше именно тому, которое родилось в вере. Если этого не случится, то мне будет страшно, тоскливо, хотя ничто мне вроде бы не угрожает.

Мой отец умер, когда мне исполнилось три года (я об этом не знал и не мог знать, потому что дети не понимают, что значит «умер»; впрочем, и взрослые не понимают). В это же время в нашей семье произошли и другие передряги. А дальше получилось так: мама вышла замуж и уехала с новым мужем в Таллин. А я остался с бабушкой и крёстной в Ленинграде. Почему так получилось – объяснять сложно и неинтересно. По ряду причин. Никто в таком раскладе виноват не был. Но вдруг оказалось, что мамы нет за стенкой и чтобы она пришла – нужно звать долго и всякими непростыми способами. Например, по телефону. Или нарисовать рисунок – цветочек, или собаку, или человечка, – а бабушка вложит его в конверт и отнесёт куда-то. А потом ждать.

Может быть, это обстоятельство заставило потрудиться: осознать себя и почувствовать, что новообретённому мне недостаточно самого себя. Необходимо, чтобы со мной вместе суще-

ствовал ещё кое-кто, и эта необходимость выражается словом «люблю».

– Кого ты больше любишь, маму, или?..

Тут взрослые, регулярно задававшие сей вопрос, немного осекались. Но бодро продолжали:

– ...или папу? ...или бабушку? ... или Коку (то есть крёстную)?

Что тут ответить? Я уже знал, что люблю их всех: и бабушку, и Коку... Но маму как-то ещё дополнительно. И она меня любит и придёт из невидимого пространства. Только надо долго ждать.

Такое ожидание, в котором нет конечного сомнения (есть сомнение: сегодня ли? завтра ли? – но нет сомнения, что будет), называется «надежда».

Носительницы имён Вера, Надежда, Любовь и София празднуют именины в один день: 30 сентября (17 сентября по церковному календарю). Так как у нас в этот день были две именинницы Веры, то праздник праздновался как общий, семейный и даже родовой. Собиралась вся родня и близкие друзья семьи. Готовились почти как к Пасхе: ходили на рынок, перемывали посуду, раздвигали стол, пекли и варили... Я, слоняясь между взрослых, слышал (может быть, мне на мои вопросы и отвечали):

– Что за день такой?

– Святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

На именины мама всегда приезжала из Таллина. Это была большая радость: гораздо бóльшая, чем, например, от новой игрушки.

Я, конечно, не знал, кто такие святые. Но получалось: радость и осуществление надежды происходят от святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Значит, святые – очень хорошие, очень необходимые. Я их люблю. И они меня любят.

Первая встреча со святыми.

Теперь отвлечёмся от детских воспоминаний и предадимся историческим.

Имитация веры

Заставить любить – невозможно. Это понимают, кажется, все – даже те, у кого власть.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА